

Его потомок Михаил Михайлович Лихачев многое от него усвоил, но и продвинулся далее в своем общественном положении. Его грудь покрывали ордена, медали и значки различных благотворительных обществ. О тяжелом характере деда часто говорили в нашей семье, и я до самого последнего времени представлял себе семью деда неблагополучной, задавленной дедовским деспотизмом. По поводу всякого проявления семейного деспотизма моим отцом мать моя часто с осуждением называла его «Михал Михалыч». А между тем мы были окружены подарками деда: половая лампа с ониксовым, очень дорогим, столиком, зеленый ковер с подсолнухами для большой гостиной, каминный экран с подсолнухами, прекрасный бронзовый письменный прибор у отца, четверо золотых карманных часов для отца и его трех сыновей. И мало ли еще что. Не забывал дед и о такой мелочи, как предпочтение, отдававшееся моей матерью зеленому цвету,— все в его подарках, что могло иметь цвет, было зеленым. Все это было знаками внимания моего деда, внешне очень суворого, к нашей семье.

## ДЕТИ М. М. ЛИХАЧЕВА

Женат Михал Михалыч, как я уже сказал, был дважды. Первая жена Прасковья Алексеевна, моя бабушка, умерла от чахотки (тогда не говорили «туберкулез»), косившей в Петербурге тысячи людей, главным образом, в молодом возрасте. Чахоточные умирали весной. Она умерла первого или второго марта. Отец всегда боялся этих чисел марта и действительно умер во время блокады первого марта (мы зарегистрировали его тогда как умершего второго марта). Мы с отцом всегда ездили потом на могилу бабушки на Новодевичьем кладбище — самом дорогом в тогдашнем Петербурге. Отец мальчиком посадил на ее могиле березку, и ко времени, когда я с ним стал посещать могилу, береза стала старой и разрушала корнями раковину могилы.

Как реликвию хранили в семье написанную рукой Прасковьи Алексеевны уже упомянутую записочку с именами ее детей. Старший сын Прасковьи Алексеевны Анатолий умер рано. Дочь Екатерина вышла замуж за известного подрядчика Кудрявцева, строившего великолукскую усыпальницу в Петропавловской крепости. У Екатерины Михайловны с мужем был особняк на Выборгской стороне, два сына — Михаил и Александр, которых мы с братом почему-то называли «дядя» Миша и «дядя» Шура, хотя они были нашими двоюродными братьями. Оба воспитывались с гувернантками, хорошо знали французский и немецкий и стали инженерами-электриками по совету нашего отца. Дом тети Кати был поставлен на барскую ногу. Когда муж тети Кати умер, она вышла замуж за помощника покойного мужа — Сегодника. Сегодник был значительно младше тети Кати и, как говорили, «женился на ее бриллиантах». Во всяком случае, он был жаден, неприятен и вскоре завел себе любовницу, которой в конечном счете и достались все бриллианты тети Кати. Но это случилось уже во время блокады Ленинграда. А тетя Катя, чтобы привлечь мужа, усердно следила за своими наряда-ми, делала подтяжки лица (во время одной из этих операций она упала в обморок и ее не скоро привели в чувство). Судьба ее сыновей была несчастливой. «Дядя» Шура был помощником проф. Гаккеля — «русского немца», специалиста по электроаккумуляторам, что было важно для подводных лодок. Во время блокады Шура что-то неосторожное сказал в столовой Дома ученых про своего учителя, в результате чего Шуру стали таскать на допросы. После одного из допросов он пришел домой, ушел на чердак и там повесился. После следователи приходили домой к его вдове и уговаривали ее не поднимать шум: военное ведомство было очень заинтересовано в работах «дяди» Шуры. А с «дядей» Мишей все было иначе. Став инженером-электриком, он переехал в Павловск, где ему очень нравилось, женился на дочери командующего Черноморским флотом Пандзержанского, расстрелянного перед войной. В Павловске его и жену захватили немцы, и он остался жив только благодаря тому, что говорил как немец

на хорошем литературном немецком языке. Когда уже вдовой жена «дяди» Миши обратилась к главе Ленинградского исполкома Смирнову с просьбой предоставить ей квартиру, Смирнов, не шелохнувшись всей своей громадной тушей, отчеканил: «Обращайтесь с этой просьбой по месту расстрела вашего отца». И она осталась жить в Барановичах, куда их отправили еще немцы.

Перехожу еще к одному сыну Михал Михальча и Прасковьи Алексеевны: к дяде Гаврюше. Его я никогда не видел. Сохранилось только длинное наставительное письмо моего отца, обращенное к Гаврюше, где отец мой пишет ему, что он готов устроить его на работу, но требует обещания аккуратно выполнять свои обязанности и не бросать работы, как он бросал ее перед тем. А дело в том, что Гаврюша имел мятущуюся душу. Уходил несколько раз в монастырь. Присоединившись к паломникам, уезжал даже на Афон в поисках правды. Сидеть за письменным столом и выполнять обязанности канцеляриста он организки не мог. Он все время был в духовных поисках. Пропадал на годы. Перед второй мировой войной мы получили известие, что он женился, живет в Ростове-на-Дону, жена продает в киоске газеты. Что делает он сам, — неизвестно. На этом сведения о нем обрываются. Значит, и из него не получился ни коммерсант, ни ремесленник.

Второй женой Михал Михальча, как я уже написал, была дочь старосты Владимирского собора Александра Ивановна Семенова.

Мой отец с глубоким уважением относился к своей мачехе, но отроком ушел из дома, стал жить на собственные средства уроками и закончил реальное училище, чтобы стать инженером. Михал же Михальч хотел, чтобы он унаследовал его дело и закончил коммерческое училище, не дававшее права поступить в институт.

Александра Ивановна боялась Михал Михальча, как, впрочем, и все в доме. Михал Михальч следил, чтобы никто в семье не сидел без дела и не «точил лясы». Приоткроет дверь в столовую, посмотрит на всех женщин тяжелым взглядом и иногда произнесет: «Ишь дармоедки». Поэтому в обычай было в доме на всякий случай держать



Прасковья Алексеевна Лихачева с сыном Сергеем.  
Начало 1880-х гг.

женщинам рукоделие на коленях. Засыпать шаркание душинных туфель и схватятся — кто вязать, кто штопать, кто чинить что-нибудь.

И все ж таки, несмотря на тяжелый семейный быт, Александра Ивановна была полна чувства собственного достоинства, держалась представительно, не унижалась перед мужем, хотя во всем его слушалась. Детей от первого брака любила, называла их ласковельно: Сереженька, Катюша. Ближе всего к ней была ее очень некрасивая дочь Вера. Это было удивительное существо, кротости необыкновенной, доброты чрезвычайной, веры глубочайшей. Я могу говорить о ней только в превосходной степени. Голос у нее был необыкновенно красив, и петербургское произношение, как и во всей семье дедушки, безупречное. Называла она меня Митюша, и одно это слово звучало для меня, как музыка. Она целиком посвятила себя матери, ухаживала за ней самоотверженно и никогда не жаловалась на судьбу. Между тем Александра Ивановна от неподвижного образа жизни страдала ногами. Ей отняли ногу, а когда после смерти Михал Михалыча Александра Ивановна и Вера, чтобы сократить расходы, переехали из центра города на Удельную на второй этаж деревянного дома,— отняли и вторую. Вскоре Александра Ивановна умерла, и Вера стала помогать в Удельной всем, кто в этом нуждался, ничего за это не требуя. Многие жители Удельной ее знали и считали святой. Небольшие деньги давали ей дядя Вася из своей нищенской зарплаты — ее брат, и мой отец — ее брат по отцу. Закончила она свою жизнь во время блокады. Еще до блокады она отдала свою большую комнату бедной многодетной еврейской семье, жившей в холодной комнатке с дверью, выходившей прямо на улицу. Разумеется, она ничего не взяла с них. Как ни топи, а ногам было в этом сарайчике холодно. Зимой она обычно сидела с ногами на высокой кровати. В начале блокады она умерла от голода одной из первых. Нам до нее было не добраться, и только весной 1942 года мы узнали о ее смерти. Где она похоронена — Бог весть.

Вторая моя тетя по отцу — Маня — была очень красива. Помню, как отец с матерью спорили: кто красивее —

тетя Маня или сестра моей матери тетя Люба. Споры эти, конечно, были полусерьезные. Тетя Маня, однако, не вышла замуж: уж очень строго держал своих дочерей Михал Михалыч. За тетю Маню сватался будущий настоятель Шуваловской церкви. Тетя Маня сказала: «Ну какая я попадья» — и отказалась. Чтобы получить хоть какую-то самостоятельность, она пошла учиться на зубного врача и некоторое время успешно практиковала где-то около Литейного моста в поликлинике, где у нее был зубоврачебный кабинет. А затем она уехала под Новгород на Фарфоровый завод. С заводом этим во время войны она эвакуировалась, близко подружилась со служащими и рабочими — настолько, что к ней ходили советоваться по всем, даже семейным, делам. Единственное, что ее смущало поозвращении из эвакуации — это далекость церкви. Была она прихожанкой Николодворищенского собора в Новгороде, пока священника этой церкви, ставшего очень популярным, не перевели в другой приход, а из самой церкви одиннадцатого века не сделали планетарий. Однажды я к ней заезжал в поселок Пролетарский. Жила она бедно, совсем близко от шоссе Москва — Ленинград в комнате, которую она старалась сделать уютной, и меня во время моего единственного посещения ее с волнением спрашивала: «Правда, я уютно устроила свою комнату?» Выписывала она «Медицинскую газету», «чтобы не отстать», и кое-какие книги. Тут ее, уже жившую на пенсии, и посещали ее многочисленные поклонники, а она наставляла всех добру и учила верить Богу. «Ну, если уж доктор наш верит, то, верно, Бог есть...» — говорили рабочие. Похоронена она в 50-х годах на кладбище в «Пролетарском». Перед смертью она приехала в Ленинград и поднималась к нам в квартиру на Басковом переулке. Я ее фотографировал, но снимок получился плохо.

Была еще тетя Настя — тоже красивая и тоже не вышедшая замуж, как и тетя Маня. Она была с высшим образованием, окончила Педагогический институт (не знаю точно какой). Получала золотые медали. Всю себя посвящала педагогическому делу. У нас дома она не бывала, а когда мы всей семьей приходили к дедушке по празд-

никам, уводила меня к себе в комнату и мы с ней лепили или играли в настольные игры. Она рано умерла от чахотки. В развитии ее болезни, я думаю, сыграла свою роль какая-то внутренняя неудовлетворенность, гнетущая обстановка, создававшаяся в семье тяжелым «купеческим» характером дедушки Михал Михальча.

А теперь о любимом мною дяде Васе — сыне Александры Ивановны. На старых фотографиях, еще дореволюционных, он выглядит настоящим щеголем: вздернутые усики, элегантное расклешенное по моде того времени пальто. Есть его фотографии с тросточкой. Если добавить к этому, что он с женой и дочкой любил ходить в кино, увлекался цыганским пением и особенно Варей Паниной, собирал ее пластинки, то на этом можно было бы поставить точку: портрет вполне законченный. Но на самом деле вся эта «внешность» была только оболочкой и, вероятнее всего, шла от довольно ординарной и мещанистой жены. На самом же деле дядя Вася был очень религиозен. И это было в нем основным. Его почитаемым святым был Серафим Саровский. В Саров он ездил один. Сохранились его фотографии Саровской пустыни. Он собирал литературу о Серафиме Саровском. Имел не пропущенный духовной цензурой полный экземпляр книги Мотовилова о Серафиме Саровском. Увлечен он был и чудесным явлением иконы Державной Божьей Матери, найденной в селе Коломенском в самый день отречения Николая II.

Я помню его высокую фигуру у нас на Офицерской. Он стоит в передней, а я еще не умею говорить и обнимаю его ноги. Он мне кажется таким высоким! Выше его никого нет.

Потом он с женой и дочкой Наташой жили на Петроградской стороне. Работал он тогда в Государственном банке и принимал участие в стачке банковских служащих, протестовавших против разгона Учредительного собрания большевиками. Стачка, как мне кажется, длилась очень долго — несколько месяцев. Теща дяди Васи за бесценок продавала все самые нужные вещи на Сытном рынке, чтобы жить. Сам он был в отчаянии, но изменить общему делу и поступить куда-нибудь на работу, как делали многие из его товарищей, он не мог. Семья буквально голодала,

и как раз в тот период, когда начался общий голод после установления советской власти в 1918 году.

Со мной, студентом, он постоянно говорил на большие мировоззренческие темы. Не довольствовался простыми ответами, иногда спорил. Он думал, задумывался, мечтал. Он не был как все. Во всем он был самим собой. Как-то он сказал мне по какому-то случаю: «Люблю большие пароходы и пушечные выстрелы с Петропавловки». В те времена пушка возвещала о наводнениях — сколько футов над ординаром, столько выстрелов — и палила также в «адмиральский час» — ровно в 12 часов. В народе говорили, что под пушку адмирал в Адмиралтействе пьет рюмку водки.

Умер мой дорогой правдоискатель во время блокады ужасно. Дома его совсем не кормили. Он пришел к нам в начале блокады попросить немного хлеба и принес дорогие куклы для детей. Куклы тогда можно было купить, а хлеб нельзя было купить совершенно. Пришел он к дяде Шуре и встал в прихожей на колени, умоляя дать немного хлеба. Скупой Шура не дал ничего.

Это был не единственный случай, когда во время блокады семья отказывалась кормить своего главу, упрекая его в том, что он вовремя не запасся, не поступил на работу и лишился карточек или пропуска в столовую.

В какой общей могиле закопали дядю Васю — не знаю. С дочкой его я как-то после блокады избегал встречаться. Я не скажу, что она была плохая. Напротив, один ее поступок в 30-е годы вселил мне уважение к ней. Она увлекалась певцом Н. К. Печковским, часто бывала в театрах, дружила с актрисой Балабиной, переписка с которой составила большую пачку, которую я просил после ее смерти передать в Театральный музей. Не знаю — передали ли ее жильцы квартиры, распоряжавшиеся ее имуществом. Ее начали вербовать в секретные сотрудники. Вызывали на «разговоры». Угрожали, улещали и обещали — все по инструкциям. Но на один из вызовов она явилась с матерью. Отказалась подписать бумагу о неразглашении своего разговора. Следователь, вызывавший ее, был в ярости. После того, как она объявила ему, что одна, без матери,

разговаривать с ним не будет, он наконец отстал и больше не вызывал. Это был смелый шаг, но верный.

Мой отец Сергей Михайлович, уйдя из дома, стал жить уроками, самостоятельно закончил реальное училище, поступил в только что открывшийся Электротехнический институт (он помещался тогда на Новоисаакиевской улице в центре города), стал инженером, работал в Главном управлении почт и телеграфов. Он был красив, энергичен, одевался щеголем, был прекрасным организатором и известен как удивительный танцор. На танцах в Шуваловском яхт-клубе он и познакомился с моей матерью. Оба они получили приз на каком-то балу, а затем отец стал ежедневно гулять под окнами моей матери и в конце концов сделал предложение.

Моя мать была из купеческой среды. По отцу она была Коняева (говорили, что первоначально фамилия семьи была Канаевы и неправильно записана в паспорт кому-то из предков в середине XIX в.). По матери она была из Поспевых, имевших старообрядческую молельню на Расстанной улице у Раскольничего моста близ Волкова кладбища: там жили старообрядцы Федосеевского согласия. Поспевские традиции и были самыми сильными в нашей семье. У нас по старообрядческой традиции никогда не было собак в квартире, но зато мы все любили штиц. По семейным преданиям, мой дед из Поспевых ездил на парижскую выставку, где поражал великолепными русскими тройками. В конце концов и Поспевы и Коняевы стали единоверцами, крестились двумя перстами и ходили в единоверческую церковь — где теперь Музей Арктики и Антарктики.

Отец матери Семен Филиппович Коняев был одним из первых билльярдистов Петербурга, весельчак, добряк, певун, говорун, во всем азартный, легкий и обаятельный. Никого он не угнетал, проиграв все — мучился и стеснялся, затем неизменно отыгрывался. В квартире его постоянно бывали гости, кто-то непременно гостила. Любил Некрасова, Никитина, Кольцова, прекрасно пел русские народные песни и городские романсы. По-старообрядчески сдержанная бабушка любила его беззаветно и все проигрыши прощала.

Отец и мать мои были уже типичными петербуржцами. Сыграла тут роль и среда, в которой они вращались, знакомые по дачным местам в Финляндии, увлечение Мариинским театром, около которого мы постоянно снимали квартиры. Чтобы сэкономить деньги, каждую весну, отправляясь на дачу, мы отказывались от городской квартиры. Мебель артельщики отвозили на склад, а осенью снимали новую пятикомнатную квартиру, обязательно вблизи от Мариинского театра, где родители имели через знакомых оркестрантов и Марию Мариусовну Петипа ложу третьего яруса на все балетные абонементы.

## ДЕТСТВО

Мои первые детские воспоминания восходят ко времени, когда я только начинал говорить. Помню, как в кабинете отца на Офицерской сел на подоконник голубь. Я побежал сообщить об этом огромном событии родителям и никак не мог объяснить им — зачем я их зову в кабинет. Другое воспоминание. Мы стоим на огороде в Куоккале, а отец должен ехать в Петербург на службу. Но я не могу этого понять и спрашиваю его: «Ты едешь покупать?» (отец всегда что-то привозил из города), но слово «покупать» у меня никак не выговаривается и получается «покукать». Я чувствую свою ошибку; мне так хочется сказать правильно! Еще более раннее воспоминание. Мы живем еще на Английском проспекте (потом проспект Мак Лина, превратившегося теперь в обычновенного русского Маклина). Я с братом смотрю волшебный фонарь. Зре лище, от которого замирает душа. Какие яркие цвета! И мне особенно нравится одна картина: дети делают снежного Деда Мороза. Он тоже не может говорить. Эта мысль приходит мне в голову, и я его люблю, Деда Мороза, — он мой, мой. Я только не могу его обнять, как обнимаю любимого плюшевого и тоже молчащего медвежонка — «Берчика». Мы читаем «Генерала Топтыгина» Некрасова,